



Первое отделение: от фонаря

## Часть первая

### АПРЕЛЬ

*(Время действия в рассказе от автора — 2006 год, город Н.)*

Сидящий в автобусе человек наклоняется, отламывает от коричневого коржика и откуда-то от колена забрасывает куски в рот, методично, кусок за куском, ни на кого не обращая внимания, а закончив, вынимает книгу и пристально в нее впивается, все без промедления, без малейшего приготовления к погружению в еду или чтение, в непрерывности ежедневного ритма.

Рядом сидит девушка в громких наушниках. «Почему вы все время расширяете свое присутствие?..»

*(В подобных случаях Эдуард говорит: «Делайте это тихо!»)*

Она не слышит. Не удивительно — это мой внутренний монолог. Я пытаюсь читать рассказ друга Леонида, первый из присланных, из тех, которые он не публикует, потому что герои и некоторые второстепенные персонажи еще живы и слишком узнаваемы.

Вот уже сорок лет я веду дневник, но никому не показываю, почти никто и не знает о моем тайном увлечении, а он известный прозаик, умеющий искусно длить и изгибать фразу или — наоборот — укрощать ее до двух-трех слов.

*(Время действия в рассказе Леонида — начало 1990-х, Санкт-Петербург)*

«Дверь открылась. Удаляющееся в темноту коридора лицо пробелело теплым и опухшим сном, осевшим в веках и состарившим ее до рукой-подать-будущего, где не очень подметено, каплющая вода торит ржавую тропу в ванной и молодая, но отуманенная пылью фотография когда-то навестившего провинциального отца косо жухнет в коридоре.

Этот расстроенный инструмент свидания должен был продлиться еще несколько тактов, пока Дмитрий снимал куртку.

Дружеское образование „Дым“ подходило ему не только внешне: ранняя седина, серые глаза и быстроизменяемые — от определенно-острых до расплывчатых — черты лица, — но и по сути: от чистосердечного презрения к людям, когда черты заострялись, становясь едкими, он легко переходил — и презрение этому способствовало — к артистическому подлаживанию к ним и безупречному умению ублажить собеседника мягко вьющимся согласием с тем, что самому противно, — тогда черты размывались и все возвращалось на круги своя: к презрению, — люди не владели техникой безразличной щедрости, чье проявление требовало, как ему казалось, работы души, преодолевающей собственное безразличие, и потому презрения заслуживали.

— Ты же обещал елку!

— Пойдем и купим, я вчера весь день был на кладбище и сейчас спешу...

— Но как я ее понесу — вот так, что ли? — Удаляясь по коридору, рука брезгливо отведена в сторону, чтоб не уколоться, и два пальчика словно бы держат елку за макушку.

Ее лицо из белого переливалось слезами в раскисшее красное, Дым сказал „Я лучше уйду“, нырнув обратно в куртку, еще не затихшую на вешалке, и вышел на лестницу.

Дымчатый день тридцать первого декабря 1990 года уравнивал их в правах, ничего не заметив.»

В этот момент резко меняется освещение, потому что автобус поворачивает, и я смотрю в окно и перестаю существовать.

Школьный двор гремит погремушкой  
и откатывается в шаре солнца,  
там бубнят через скакалку дети  
и за ними смотрят отрешенно тети, —  
так автобус всем нутром моим уходит  
и скрывается для них за поворотом,  
но курящей женщине в плаще —  
на веранде дома, чуть ссутулясь,  
птичий профиль с поднесенной сигаретой, —  
открывается весной нагретым боком.

Я немолод, иногда лежу — руки на одеяле — и представляю себя умершим. Это соображение слишком обычно. Нет, говорю, я хочу покончить с собой, наколовшись на булавку в твоём гербарии, читатель. Это крылышки набоковской пышности, а не угроза. Да и нет никакого читателя. «Покончить с собой» — значит освободиться не от жизни, а от своего навязчивого пристрастия к ней. Я хочу, чтобы стихи стояли спокойными попутными фонарями на пути прозы, не обязательно мои. Пусть освещают.

Слева, появившись издалека, вода поднимается до щиколоток и заливает мостовую, затем тротуар, и, входя во двор, я вижу сплошное ледяное поле, по которому с трудом добираюсь до парадной, но ведь когда я повернул на свою улицу, было лето... Сегодня приснилось.

Мне часто снится город, в котором я раньше жил. Там живет мой друг Леонид.

Я еду на работу. Путь долгий: от кольца до кольца. Я работаю фонарщиком. Звучит поэтично и в рифму

с «фонарями на пути прозы», но это нагруженная неуместным символизмом случайность, а работа самая прозаичная: обойти свой район и записать номера неисправных фонарей, а затем передать электрикам. Еще среди моих подопечных — неоновая реклама. «Лучшие кальяны в городе», «Элитное постельное белье»...

Еду и читаю в газете рецензию. Писатель хвалит работу другого: «Я не завидую, это воистину полет...» Рядом интервью еще одного: «Интеллектуальный гламур даже отвратительней обычного. Нет-нет, конечно, пусть зарабатывают. Не хочу называть имена, а то подумают, что завидую...»

Избыток чуткой зависти.

Приехав на конечную остановку «Автобусный вокзал», прохожу мимо зеркал в зале ожидания и в одном из них вижу в отражении человека; быть может, сумасшедшего, из тех, что живут на вокзалах. Замираю и опять на секунду проваливаюсь.

Человек у зеркала неизгладимый  
всматривается, но не в себя,  
бегают зрачки, — там белый, нелюдимый  
свет стоит неоновый слепя, —  
в зеркале он паникует, ищет  
тех, кто перешел на ту  
сторону и там растаял, кличет  
хоть кого, и крупные зрачки кричат «Ау!».

Фонари зажгутся еще не скоро. Зачастую я приезжаю в этот район много раньше. Иногда дома тоскливо.

Сажусь на скамейку и снова берусь за газету. В передовице — изображение политического лидера соседней страны, и, словно в продолжение неведомого

стихотворения, влетает строка: президент страны подернут плесенью... Президент страны подернут плесенью...

Невозможно читать, когда в голове бьется залетевший в нее ритм... В зале тоже все мелькает, вечернее солнце выдвигает и задвигает ломаные плоскости света...

«В Москве приостановлена работа сети китайских ресторанов, в которых под видом баранины подавали мясо убитых бродячих собак, сообщила в понедельник пресс-офицер управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы Ирина Волк».

Время между собакой и волком.

«По окончании футбольного матча тренер проигравшей по вине арбитра команды сказал: „Есть Божий суд, наперсники разврата“».

В криминальной хронике пишут, что в зале суда бегал солнечный зайчик. Подсудимого на выходе во двор убил снайпер, засевший на чердаке дома напротив, а один из свидетелей потом догадался, что зайчик был, скорее всего, отблеском оптического прицела.

Я думаю о таком непостижимом призвании солнечного зайчика и вновь принимаюсь за рассказ.

*«Он зашел через пару недель после ее примирительного звонка. В кухне стояла елка, редкая и покосившаяся, с наброшенной нисходящими кольцами „дождевой“ шалью, несоизмеренно большой и тяжелой для такого скелета, и от небрежности и нищеты этого одеяния у него перехватило горло. Он хотел было сказать, что „пора выбросить“, но удержался и от слов, и от кривой усмешки, которая стала бы слишком точным отражением праздника, наверставшего себя, вероятно, уже после Нового года и виновато притулившегося в углу. Набирая в чайник воду, он словно бы услышал, как в ответ на его непрозвучавшие слова она спрашивает: „Как же я выброшу — вот так вот и понесу по лестнице, а она будет колоться и осыпаться?“*

*„Да, осыпаться и колотьяся, — проговорил он вслух, ставя чайник на плиту, — осыпаться и колотьяся», — и увидел себя в спину спускающимся со штукатурным царапающим шорохом во двор, мимо чугунной двери на первом этаже, за которой обитал, по ее словам, эскорт-сервис, чтобы упокоить елочный прах на подзаборном снегу, „осыпаться и колотьяся“, но он боялся сделать шаг в сторону от прозрачной холодности все еще льющейся из крана воды и больше ничего не сказал.»*

Моя работа — праздная. Но с некоторых (и уже давнишних) пор ум мало что и занимает, потому что сосредоточиться на чем-то, что отвлекает от слегка ошеломительной заброшенности в жизнь, уже не могу. Сейчас я меньше верю в то, что жизнь — это лишь происходящее со мной и вокруг, что она — вот это видимое и чувствительное расположение тел в пространстве и во времени, и только. Но я еще очень привязан к этой варварской вере.

*«а закрыв кран, в долю секунды увидел ее недавний рассказ, состоящий из слов с проглоченными хвостиками окончаний, что придавало речи обаятельную, на ее вкус, сбивчивость — „я его, наверное, обидела, когда последний раз вот так вынесла рубашку к дверям“, — и это был коридорный проход, по направлению обратный елочному, — в руках рубашка изгнанного (сбежавшего?) мужа, два полуотведенных от десятилетней близости взгляда, прощальная обоюдная капитуляция с выдачей пленной небрежно сложенной рубашки, вынесенной в коридор (так Дмитрий себе это представил, предположив мимоходом, что ссорно-примирительная тягомотина, вероятно, длилась по сей день), — и с тех пор „комната близости“ оставалась прикрытой и необитаемой. А если и обитаемой.»*

Когда-то давно я пытался напечатать отрывки из своего дневника (под псевдонимом, потому что стеснялся



родных), но в редакциях меня убедили, что они никуда не годятся. Я сначала переживал, потом смирился. Даже не переживал, а не любил тех людей, которые мне отказывали в праве проговаривать вслух слова.

Я столько времени их не любил, что понял: время и есть нелюбовь. Но потом оно кончилось.

Дело не в них, а во мне, и если эти записи — установление точности, то не имеет значения, будут ли они замечены.

*«то темными дүхами пыли и силуэтами вещей и мебели, поначалу задетыми за живое, потому что брошенными на произвол судьбы, где им нет применения, а теперь уже и не подающими признаков жизни. Казалось, прежде чем превратиться в прах, они стали предупредительно размытыми, чтобы хозяйка, обознавшаяся в попытке зажечь вазу вместо лампы, не почувствовала себя виноватой.*

— Ты знаешь, что с Верой?

— Нет еще.

— Экзема на руках.

— Ужас.

— И на ногах.

— И на ногах?

— Все от нервов, ей теперь в бассейн нельзя. — Речь шла об одной из наяд синхронного плавания, мастерицу подводно-надводного кружения, перешедшего со временем в бабское бульканье на суше с обменом наипустейшими новостями.

Он смотрел на несвежую скатерть, где ложка вполуха слушала жалобу вилки с вывихнутым суставом, на подоконник с затуманенным аквариумом и двумя рыбками, сонно подвигивающими хвостами их диалогу, на круглое зеркальце с отпечатком большого пальца, а если наклонить голову — с отражением знакомого, сходного с мордой веймарской легавой на его домашнем календаре, чужого лица, становящегося тут же своим, но неузнаваемым.

— А еще посмотри, что я купила для туалета. — Она открыла дверь. Над бачком светился цветок-ночник, интимно-улыбчивое сопровождение к интимным намерениям посетителя, и он вновь готов был всхлипнуть от скудной жалостливости этого хозяйства, подражавшего туалетному убранству в доме, скорее всего, этой самой Веры. Потому что, когда они пили чай и он сказал под влиянием увиденного, что пора бы ей обзавестись богатым другом, она мгновенно согласилась: „Да, надо худо-бедно жизнь оформить“, — и это была фраза ее рыжей подруги, чьи остроумие и живость с годами стали предприимчивостью и вполне „оформились“. „И кстати, у тебя не найдется тысячи три, я должна...“ — „Конечно... — сказал он вслух, а про себя добавил: ...но через спальню“.

Много лет назад у меня была жена, оставшаяся в том городе, где остались все мои друзья. Два года мы прожили вместе, потом она ушла. Обычную земную привязанность можно определить переживанием страха смерти как страха расставания с ней, а не своего исчезновения. После ухода жены я сразу переехал в другой город. А потом сказал себе: я ее, конечно, люблю, но не более того.

Иду по своему участку. Рядом молодая пара. Слышу упрямый голос девушки: «Кто она? Кто она?» Ее друг чуть впереди, блуждающий взгляд, полуулыбка. Оба не совсем здесь.

Подлинность себя не знает, потому так неопровержима в своем молчании. Но человеческое знание неуверительно и легковесно, — рябит болтливо и тараторит вкось. «Кто она? Кто она?»

(В подобных случаях Эдуард говорит: «Сзади идешь — сзади и найдешь».)

В любви неуничтожимо лишь бесчувственное сопровождение: пейзаж или интерьер. Потому что они ничего дурного не замышляют. «Вы уверены?» Но я прохожу мимо не отвечая. Сейчас лучшее время дня, заходит солнце. Я сажусь на скамейку и смотрю на небо.

В алюминиевой кастрюльке  
вскипяти молоко,  
старческие запомни руки,  
в окне на кухне запомни облако.

А когда, закипая близко,  
сворачивается оно,  
запомни сдвиг живой белизны  
к мертвой, —

это водянистая  
подоплека грядущих бед.  
Небо светит сегодня неистово.  
Ничего не помнит свет.

В этом районе, где я совершаю обход своих «пациентов», все знакомо до мелочей: не только улицы и их обитатели, но и мизансцены, выверенные во времени и пространстве с такой точностью, что я могу предсказать выход того или иного «актера». Их повторяемость в своем самоутверждении, как ни странно, не добавляет реальности, наоборот, внушает иллюзорность, и, если бы не случайные статисты, дилетанты, действующие на свой страх и риск, сновидению не было бы конца.

Сейчас выход бодряка из того кафе. Он ест бутерброд, вминаясь в свежую булку, начиненную зеленью и мясом, с таким жаром, что я ощущаю вкус поглощаемого. Тело в разгаре еще не исчерпанного удовольствия.

А вот и статисты: на той стороне улицы целующаяся пара, при этом мужчина умудряется рукой почесывать

бок. Но ведь только так бодряк и может запомниться? «Да, уверен».

Есть еще замечательные случайности, которые выламываются из скучной повседневности своей странной выразительностью. «Выразительной претенциозностью», как приговаривает «повседневность», подобно каждому из нас, подозревающему, что все, кроме него, слегка сумасшедшие.

Низкорослый мужчина облакачивается на шею девушки с отпиленной головой, — на ней обтягивающие джинсы и блузка, она стоит ровно и подчеркнуто неподвижно, притворяясь манекеном, который в следующее мгновение им и становится, — выставленный перед магазином одежды, он мелькнул, когда я ехал на работу, а вспомнился сию секунду, когда смотрю на сидящих на асфальте двух крошечных черных птиц — клюв в клюв, — застывших в поцелуе, и, пока вглядываюсь в них, они превращаются в кленовый лист, вырезанный и вертикально установленный в виде двойного силуэта, — он подрагивает на сером асфальте от щекотки заходящего солнца, освещающего его сзади, — оттого с моей стороны силуэт не сплошь черен, но слегка позолочен по контуру.

*«Дым на мгновение отключился и увидел в кратком сне, что после этих мысленных слов она, уловив, что „спальню“ он заказывает скорее от скуки что-то сказать, чем от желания ее раздеть и возлюбить, раскисла, и подумал, что слезы с большей вероятностью разыграли из-за этого, а не из-за неприглядной и наглой правды, что деньги бы не помешали.*

*Как бы там ни было, она разучилась справляться с легкими, как ветерок, истериками, ополаскивающими или — скорее — оплакивающими ее лицо, и красивые прямые черты расплывались, как на промокашке, а она даже толком не понимала, что именно вызывало слезы. Теперь*

это происходило с болезненной частотой, как будто она, в прошлом профессиональная пловчиха, всеми порами впитывала годами воду и вот сейчас возвращала ее миру, слегка подсолив.

Ее неразумение прошло славный эволюционный путь от принудительного сдвига мысли из гостиной в кладовку, откуда еще долго раздавались вздохи и скрипы, до инстинктивного запрета на принятие любого сигнала, требующего осмысления, и речь с усеченными окончаниями слов о том свидетельствовала безутешно.

„Да, безутешно, мой друг, — Дмитрий обращался к нашему покойному другу Грише, — ведь есть люди, и ты это хорошо знаешь, которые не ведают чувства вины, чаще женщины, чем мужчины, по крайней мере, не способны ее признать, и их головы устроены еще безутешней, потому что они не только не допускают своей вины, но и мгновенно винят того, перед кем виноваты, и тоже не успевая понять в чем, хотя интуитивно и обыгрывая ситуацию с выгодой для себя, не то что обычные плаксы. Впрочем, она поднаторела и в такого рода упреждающих выпадах, и я как раз вспоминал об этом, когда А. фотографировал нас с Л. у гранитного заиндевевшего твоего надгробья и, наверное, для придания живости картинке выдувал парок перед объективом, а уж потом щелкал. Было немного стыдно — не лучшее, нет, не лучшее место для фотопроб, так что в глазах моих смешались стыд и бесстыдство, и вышел некоторый испуг (заметь, как точно это слово соответствует значению!). Испуг, кровно связанный с этим, повторился на завтра по другим причинам, когда я пришел без елки и испугался не очередных обвинительных слез, столь несправедливых, а своего презрения к ее беспамятству, тем худшему, что ты ее когда-то тайно (а значит — с особенной преданностью) любил, мой дорогой, и она это прекрасно знала». Здесь обращение к покойному другу кончалось.

Дым, как всегда, бежал, бежал, бежал и добежал до очередного побега, не отчаянного, а спокойного, не

задевающего сердечной мышцы, стоящего столько же, сколько ее обида и его хамство. Так же, как он знал, что ее мораль физиологична и не поддается дрессировке, что она из тех людей, которые, проголодавшись или не выпавшись, обрушиваются на ближнего дурным настроением, так и она знала, что он ради красного словца... и т. д., и его презрение, если оно возникало, сопровождалось, пожалуй, восторгом, да, это было восторженное презрение. Он не раз вспоминал, как в пору до ее замужества, лет пятнадцать назад, она шла навестить больную родственницу и по дороге откусила грушу, которую ей несла, и если бы не его укоризненные уговоры, так бы и подарила, с надкусом, о, святая простота, но он помнил и какие-то свои слова, произнесенные без малейшего намерения оскорбить, но часто оскорбительные, потому что черт дергал его за язык, обязывая к живости и остроумию диалога, и это отдавалось угрызениями совести, которые затихали, пока не выпаливалось что-нибудь новенькое.

Он не сказал „Конечно, но через спальню“, а сказал „Конечно, вот только получу деньги“, и они провели два дня в купленном им в долг любовном разврате, который был несомненно и возвратом, но туда, где он не бывал, потому что его не тяготили обязательства, как это было до ее аборта и их разрыва чертову дюжину лет назад, когда он потерял ее из виду. Кроме того, она нахваталась за это время каких-то похабных штучек и виртуозно их использовала, так что он вполне насытился, а насытившись, равнодушно-благодарный, вышел в тускло-тальный январь, чтобы похоронить чахлую елку, одолжиться у отца, после смерти которого он разбогатеет, став владельцем уникальной коллекции живописи... — и двинуться к ресторану „Бриг“.»

По дороге к трамваю вижу в витрине офиса братьев-близнецов, сидящих за соседними столами с совершенно одинаковыми просителями, — до сегодняшнего дня там присутствовал лишь один из них, чиновник,

что-то усердно подсчитывающий, — я удивлен удвоенной картиной, пока не озаряюсь бережной догадкой, что левую стену залили сплошным зеркалом.

Потом я бреду домой, время позднее, прохожих почти нет, только иногда полиэтиленовые мешки взлетают и пускаются вдогонку друг за другом, нестрашно пугая краткой вспышкой зависти к одушевленному миру.

«Летают сны-мучители над грешными людьми...» Свидание Мандельштама с этими строками из лермонтовского «Свидания» и подсказало ему «Лермонтов, мучитель наш...».

Ночью входит, говорит: так страшно...  
проснулась... испугалась... Знаю, знаю.  
Ведь иногда и тишина истошна.  
Пойдем на кухню и заварим чаю.  
Вот блюдце, видишь блюдце? Мы отвыкли  
от зрения, и говорить забыли,  
и праведнее было б спать, не так ли,  
совсем без снов. Мы жизни не просили.  
А по ночам белеет эта кухня,  
как будто знает, как из коридора,  
на повороте вспышкой мозга ахнув,  
себя заснять на память... Скоро, скоро.

Это действительно ночь, и мне приснилось, что вошла жена. Есть несколько человек, постоянно присутствующих в моей жизни, некоторые умерли, а кто-то остался в том городе. Я с ними разговариваю. Странно, что человек может спать. Еще страннее, что он не сходит с ума. Ведь происходящее с ним не имеет и намека на разумное объяснение. «Но, может быть, заложенная в нем упрямая способность справляться с этим и есть намек?» — «Может быть. Физиологический намек на духовные обстоятельства».